
18+
Варвара Сухона
СКАЖИ «БЕРУ»
мистический детектив

Варвара Сухона

Скажи: «Беру». Мистический детектив

«Издательские решения»

Сухона В.

Скажи: «Беру». Мистический детектив / В. Сухона — «Издательские решения»,

Женя Ракитина двенадцать лет разоблачала инсценировки: поджоги, «несчастные случаи», фальшивые кражи. Она не верит ни в бога, ни в чёрта, ни в бабушкины сказки. Но бабушка оставила ей дом в вологодской деревне Заполье. А ещё тетради с правилами, домового, который прячет ключи, и голодных «помощников», которым нужна работа. Через неделю после её приезда соседа находят мёртвым. У Жени три недели, чтобы найти убийцу. Потом то, что бабушка не успела передать, само выберет себе хозяина.

© Сухона В.
© Издательские решения

Содержание

ПРОЛОГ 6
Бери 6
ГЛАВА 1 8
Две чашки 8
ГЛАВА 2 14
Соль 14
ГЛАВА 3 20
Новая Тихоновна 20
ГЛАВА 4 26
Тетради 26
ГЛАВА 5 32
Третий пар 32
ГЛАВА 6 38
Инсценировка 38
Конец ознакомительного фрагмента. 40

Скажи: «Беру» Мистический детектив

Варвара Сухона

© Варвара Сухона, 2026

ISBN 978-5-0071-7442-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПРОЛОГ

Бери

Кто знает, тому легко не помереть. Не отдашь — будешь маяться, пока над тобой потолок не разберут.
Из тетради А. Т. Зуевой, 1966

Холод шёл от порога.

Анна Тихоновна почуяла его ещё днём, когда ставила квашню: потянуло по ногам, будто кто-то оставил открытой дверь в сени. Дверь была закрыта. Она проверила дважды, второй раз ладонью, как проверяют лоб у ребёнка. Закрыта. А по полу всё тянуло, ровно и тихо, как вода тянет в омут.

К вечеру холод дошёл до колен. Печь гудела, стены были тёплые, а ноги стыли. Она надела шерстяные носки, потом валенки, потом села к столу и записала в тетрадь про порог — коротко, как записывала всё, что боялась забыть.

Забывала она теперь много. Это была плата, и спорить с ней Анна Тихоновна не стала бы, даже если б было с кем. За каждую найденную корову, за каждого выправленного младенца, за каждый разговор там, за межой, из головы что-нибудь уходило. Лица. Имена. Вкус морошки. Однажды ушёл целый год, семьдесят девятый, и она так и не узнала, что в нём было хорошего.

Днём кто-то заходил. За спичками, кажется. Она помнила, как отсыпала спички из пачки, помнила, как стукнула дверь, — и не помнила лица. Будто кто-то вынул его аккуратно, двумя пальцами, как вынимают занозу.

Ночью она легла и поняла, что больше не встанет.

Сердце не болело. Оно запиналось, как старые ходики на стене, которые она двадцать лет собиралась отдать в починку: шагнёт, постоит, подумает, шагнёт снова. Ходики показывали без двадцати час. Анна Тихоновна смотрела на них и считала паузы.

«Так не умирают», — подумала она с сухим удивлением, без страха.

Такие, как она, за одну ночь не уходят. Таких земля не берёт, пока не отдашь, что держишь. Сутками маются, неделями, кричат чужими голосами, пока соседи не полезут на крышу разбирать потолок, чтобы выпустить. Она видела это у матери. Аграфена кричала три дня, пока шестнадцатилетняя Анька не взяла её за руку и не сказала то, что надо было сказать.

А её, Анну, будто кто-то торопил. Подталкивал в спину: иди, иди, нечего тут.

— Позови, — сказала она в сторону печи. Голос вышел сиплый, чужой. — Слышишь? Сходи за ней.

За печью было тихо. Потом в голбце что-то мягко стукнуло, как падает с полки валенок, и снова стало тихо.

Она ждала.

Думала почему-то не о той, кого звала, а о Женьке. Женька приедет. Не на похороны, нет: Людка, конечно, скажет ей поздно, Людка всю жизнь говорит поздно. Приедет потом. На девятый день. Нет, на восьмой: побоится опоздать. Ракитины всегда боятся опоздать и всё равно опаздывают. Анна Тихоновна ещё на прошлой неделе велела Ефиму натопить к её приезду. Ефим поворчал, но запомнил. Он всё запоминал, ему за это не платить.

Женьку она звать не стала бы, даже будь та рядом. Однажды она уже заплатила, чтобы девочку оставили в покое. Цену помнила. Это, пожалуй, было единственное, что она помнила целиком.

Шаги на крыльце раздались, когда ходики показывали без четверти два. Дверь открылась без стука, и в избу вместе с холодом вошла гостья — в куртке поверх ночной рубашки, с непокрытой головой.

— Не спалось, — сказала она шёпотом, хотя шептать было не для кого. — Будто в окно стукнули. Анна Тихоновна, вам плохо?

— Чайник поставь.

— Какой чайник, я сейчас давление…

— Поставь, — повторила Анна Тихоновна. — Гостю без чаю нельзя. Мне травы завари, в банке у окна. Себе чёрного.

Гостья послушалась. Она всегда слушалась, это было и хорошо, и плохо. Зашумел чайник, звякнули чашки. Анна Тихоновна смотрела, как та садится к столу, как берёт кусок сахару и откусывает его — громко, по-девчачьи, вприкуску, как пили чай в этой избе до всяких сахарниц. Отпила, поставила чашку. Огрызок сахару положила на блюдце.

— Не за чаем звала, — сказала Анна Тихоновна. — Сядь ближе. Руку дай.

Гостья поняла. Анна Тихоновна видела, как она поняла: побелела, вцепилась пальцами в край стола. Они говорили об этом летом, говорили не раз, и гостья тогда кивала, а теперь, когда пришло время, ей стало страшно. Правильно стало. Кто не боится, тому и давать нельзя.

— Бери, — сказала Анна Тихоновна.

Ходики шагнули и постояли.

— Беру, — сказала гостья и взяла её за руку.

Оно поднялось сразу, откуда-то из-под рёбер, тёплое и тяжёлое, как вода в бочке, которую качнули. Пошло в плечо, в локоть, в ладонь, туда, где лежали чужие холодные пальцы. Шестьдесят лет оно жило в Анне Тихоновне и теперь уходило охотно, как уходит из дома взрослая дочь.

И остановилось.

Не у пальцев — раньше. Словно в сенях кто-то захлопнул дверь, и сквозняк, тянувший весь день от порога, ударил разом, во всю силу. Тепло, уже стоявшее в ладони, качнулось обратно и легло на дно. Ничего не прошло. Ни капли.

— Анна Тихоновна? — гостья смотрела на неё, не отпуская руки. — Получилось? Я ничего… я не чувствую ничего. Так должно быть?

«Порог», — поняла Анна Тихоновна.

Поняла ясно, целиком, как понимала когда-то, где искать пропавшего телёнка: холод, сквозняк, спички, лицо, которое кто-то вынул из памяти. Вот почему её торопят. Не своя это смерть.

— По… — сказала она.

— Что? — гостья наклонилась ниже. — Помочь? Позвать кого? Анна Тихоновна, скажите, что делать!

Язык не послушался. Губы сложили второй слог, но звука в нём не было, только воздух. Гостья плакала. Ходики шагнули. Постояли. Подумали.

«Сорок дней, — успела подумать Анна Тихоновна, и впервые за эту ночь ей стало страшно. — Сорок дней оно при доме простоит. А потом само выберет. Женька. Женьку бы…»

Последнее, что она услышала, — как за печью кто-то по-стариковски вздохнул. И как в тишине тонко звякнула о чашку ложка.

ГЛАВА 1

Две чашки

Девять дней со стола не убирай. Кто не допил — тот ещё здесь.
Из тетради А. Т. Зуевой, 1971

Последняя палочка связи пропала у водонапорной башни. Женя заметила это, потому что смотрела на телефон, а не на дорогу, и как раз в эту секунду правое переднее колесо ушло в колею по самую ступицу.

Машина качнулась, словно споткнулась, и встала.

Женя выключила двигатель и посидела в тишине. За лобовым стеклом стоял серый сентябрьский лес, над лесом стояло серое небо, а между ними, на голом холме, ржавая башня, похожая на шахматную ладью, которую забыли убрать с доски. Дождь то начинался, то передумывал.

В её прошлой работе такие истории начинались словами «водитель не справился с управлением». Двенадцать лет она читала эти слова в заявлениях и почти никогда им не верила. Справлялись все. Просто кому-то нужна была новая машина, а кому-то, чтобы жена не узнала, где он был в ночь на субботу.

«Заявитель утверждает, что смотрел в телефон», — сказала Женя вслух и вышла под дождь.

Колея была глубокая, глинистая, рыжая. Городские кроссовки утонули в ней сразу и с чавканьем, будто их здесь давно ждали. Женя обошла машину, посмотрела на колесо, потом на холм. Наверху, у башни, телефон ещё ловил. Можно было подняться и позвонить.

Звонить было некому.

Эту мысль она отодвинула, как отодвигают папку, которую не хочется открывать, и пошла ломать ветки. Через сорок минут, мокрая до колен, с исцарапанными руками и чужой ёлкой под колесом, она выползла из колеи задним ходом, объехала её по краю поля и поползла вниз с холма, к Заполью, которое навигатор отказывался признавать населённым пунктом.

До Заполья оставалось два километра. Женя ехала их двадцать минут и думала о том, о чём думать не собиралась.

Сообщение от матери пришло двадцать первого, в понедельник, в 7:42 утра. Женя помнила время, потому что первым делом посмотрела на него, а не на текст: профессиональная привычка, сначала хронометраж, потом содержание. Текст был такой: «Бабушка умерла. Похоронили вчера. Ехать не надо. Там нечего делать».

Двадцать второго она не ответила. Двадцать третьего позвонила нотариус из Никольска, Лебедева, вежливая женщина с усталым голосом, и сообщила, что Анна Тихоновна Зуева оставила завещание, составленное в начале месяца. Дом и земельный участок в деревне Заполье — внучке, Ракитиной Евгении Сергеевне. Больше никому ничего.

— Вы приедете? — спросила Лебедева.

— Не знаю, — сказала Женя.

Она действительно не знала. Вечером она сидела на кухне своей однушки на Васильевском и понимала, что ехать незачем, а оставаться — тем более. С работы она ушла в августе. Громкое дело: склад, пожар, восемнадцать миллионов страховки, хозяин, который поджёг сам себя и очень убедительно плакал на камеру. Женя доказала поджог. Начальство похвалило её и тихо выплатило деньги, потому что хозяин склада оказался чьим-то родственником. Правда пригодилась ровно настолько, чтобы её положили в папку.

Двадцать четвёртого утром она собрала сумку и выехала. Решила по дороге, что едет оценить имущество. Это звучало разумно.

Бабушку она не видела двадцать два года.

Последний раз ей было девять. Было лето, была река, был запах печного дыма и сушёной мяты, а потом мать увезла её посреди июля, не дождавшись конца лета. Женя не помнила почему. Не помнила вообще ничего из того последнего лета, только как сидела на заднем сиденье чьей-то машины и смотрела, как уходит назад холм с башней. Врач, к которому мать водила её осенью, сказал, что так бывает. Детская память — решето.

Потом были открытки. Каждый Новый год, с тех пор как Женя съехала от матери: «Женечке от бабы Ани», почерк острый, буквы стоят прямо, как солдаты. Ни одной просьбы, ни одного упрёка. Женя ни разу не ответила. Не потому, что не хотела. Просто не знала, что пишут человеку, которого не помнишь, но которому почему-то должна.

На похоронах её не было, потому что она не знала. Это была правда. Женя повторила её про себя дважды, как повторяют правду, в которой не уверены.

Заполье показалось в сумерках, сразу за поворотом: тёмная полоса реки, вдоль неё три десятка изб, над половиной труб дым, а над всем этим лес, такой большой и близкий, что деревня казалась прижатой к воде. Где-то залаяла собака, ей ответила другая. Женя ехала по единственной улице и чувствовала, как из-за занавесок на неё смотрят. Не видела — чувствовала, кожей, как на допросе чувствуешь момент, когда собеседник начинает врать.

Бабушкин дом стоял последним, у самого леса. Она узнала его сразу и удивилась этому: высокая серая изба на два окна в улицу и три в бок, резные наличники, крыльцо под навесом, за домом крытый двор, ниже, у ручья, банька. Всё было меньше, чем в памяти, и всё было на месте.

Из трубы шёл дым.

Женя заглушила мотор и некоторое время смотрела на этот дым. Белый, ровный, деловитый. Так дымят дома, в которых живут.

Дверь была не заперта. В сенях пахло холодом, яблоками и берёзовыми вениками, а когда она открыла вторую дверь, в избу, на неё дохнуло таким густым печным теплом, что заслезились глаза. Женя переступила порог, и по щиколоткам тут же потянуло ледяным сквозняком, будто из-под пола. «Нижний венец, — машинально отметила она. — Или лаги. Дом проседает, щель под порогом». Она достала телефон и сфотографировала порог. Потом сфотографировала всё остальное.

Это было проще, чем просто стоять и смотреть.

«Объект: жилой дом, бревенчатый, предположительно пятидесятые годы постройки, — диктовала она себе мысленно, переходя из угла в угол. — Пятистенок. Русская печь, исправна, растоплена. Электричество есть». Щёлкнул выключатель, под потолком загорелась голая лампочка. «Мебель: стол, лавки, два стула, кровать с подзорами, шкаф, сундук под половиком». В углу над столом висели пучки трав, перевязанные красной ниткой, и тусклый календарь за 1987 год.

Ходики на стене стояли. Стрелки показывали без пяти три.

В избе было чисто. Пол выметен, кровать заправлена, на подоконниках ни пылинки. Только стол выбивался из этого порядка, как выбивается из протокола лишняя подпись.

На столе, на клеёнке в мелкую клубнику, стояли две чашки.

Одна, белая с отбитой ручкой, ближе к окну. На дне засохший бурый осадок, по стенке тёмное кольцо: здесь пили травяной настой, и пили не до конца. Вторая, синяя в горошек, напротив. Чай в ней давно высох, оставив коричневую корку, а на блюдце лежал кусок сахару. Не целый — надкушенный. Женя наклонилась ниже. Твёрдый, старого образца, колотый кусок, и на нём аккуратный полукруг от зубов.

Кто-то пил чай вприкуску. Сидел здесь, напротив бабушки, откусил сахар, отпил — и не допил.

Женя сфотографировала обе чашки. Сначала общим планом, потом каждую отдельно, потом сахар крупно, с линейкой из рулетки, которую по привычке носила в кармане куртки. Телефон показал 19:14. Она стояла над этим столом и пыталась понять, что ей здесь не нравится, и поняла не сразу.

Ей не нравилось, что это никто не убрал. Дом вымыли весь, до последней половицы, а стол оставили. Как место происшествия.

— Приехала, — сказали за спиной.

Женя обернулась так резко, что задела локтем лавку.

В дверях стоял старик. Невысокий, жилистый, в ватнике поверх тельняшки и в резиновых сапогах, с которых на чистый пол уже натекла лужица. Лицо у него было тёмное, складчатое, как кора, а глаза светлые и очень насмешливые. У его ног сидела рыжая лохматая собака неопределимой породы и смотрела на Женю с тем же выражением.

— Вы кто? — спросила Женя.

— Ефим я. Рябов. Через дорогу живу. — Старик кивнул на собаку. — Это Шарик. Ты нас не помнишь, ну дак и не надо. Я тебя помню. Ты у меня с крыльца на Шарикову мамку прыгала, она тебя потом за штанину на реку таскала.

Женя не помнила ни крыльца, ни Шариковой мамки.

— Это вы натопили?

— Я. Тихоновна велела. — Ефим прошёл к печи, не разуваясь, открыл заслонку, заглянул внутрь, словно проверял, на месте ли огонь, и закрыл. — Сказала: натопишь к Женькиному приезду, она на девятый день приедет. Потом подумала и говорит: нет, на восьмой. Опоздать побоится.

— Когда она это сказала?

— Да числа десятого. Али одиннадцатого. Я у неё дрова колол.

Женя медленно достала из кармана блокнот. Это движение всегда её успокаивало: обложка, резинка, ручка в петле. Порядок.

— Десятого сентября, — сказала она, — моя бабушка была жива и здорова?

— Здоровая была. Как лошадь. — Ефим посмотрел на блокнот с интересом. — Ты пишешь, что ли? Пиши, пиши. Тихоновна тоже всё писала.

— Тогда откуда она знала, что умрёт? И что я приеду? И когда?

Старик пожал плечами так, будто его спросили, откуда берётся дождь.

— Знала, дак и знала.

Женя открыла блокнот на чистой странице и написала сверху: «Заполье. 25.09». Ниже, после паузы: «Несоот. 1». Она решила ехать вечером двадцать третьего, после звонка Лебедевой. Не раньше. Она сама за неделю до этого не знала, что окажется здесь. Никто не знал. Мать бы не сказала. Нотариус не стала бы звонить в деревню. Значит, либо Ефим врёт, либо он перепутал числа, либо…

Никаких «либо». Либо врёт, либо перепутал.

— А кто ещё знал, что я приеду? — спросила она.

— Да все, — сказал Ефим просто. — Я ж сказал.

Ну конечно. Деревня. Одна фраза старика у колодца, и через день её знают все тридцать дворов, а через неделю она уже звучит как пророчество. Женя чуть расслабилась. Это было объяснимо: бабушка, предчувствие, старческая уверенность, совпадение. Совпадения случаются. Примерно одно из двадцати даже бывает настоящим.

Она кивнула на стол.

— А это что? Кто у неё был?

Ефим посмотрел на чашки и на секунду перестал улыбаться.

— Мало ли кто. К Тихоновне ходили.

— В ночь, когда она умерла?

— Ночью я спал, — сказал Ефим и отвернулся к окну.

«Врёт», — отметила Женя. Не про сон, тут она не знала. Врёт тем, как отвернулся. Так отворачиваются свидетели, которые решили, что сказали достаточно.

— Кто её нашёл?

— Фельдшерица наша смотрела. Бумагу выписала, всё честь по чести. Сердце. — Он помолчал. — Ты её, Тихоновну-то, не жалей. Она хорошо прожила. Ей бы кто так прожить.

Женя взялась за синюю чашку. Она не думала, просто хотела отнести её к рукомойнику: невыносимо было смотреть на этот надкушенный сахар, на засохший чай, как будто кто-то вышел на минуту и вот-вот вернётся.

— Не трожь.

Сказано было негромко, но так, что рука сама разжалась. Чашка звякнула о блюдце.

— Почему?

— До девятин не трогают. — Ефим смотрел на неё без всякой насмешки. — Завтра девятины, у меня поминаем, в два. После и уберёшь. А сегодня пускай стоят.

— Это суеверие.

— Это порядок, — поправил Ефим. — Суеверие — это когда не знаешь зачем. А тут знают.

— И зачем?

Старик подумал. Ответить, похоже, было что, но говорить он не захотел.

— Затем, — сказал он. — Дрова в сенях, воды я наносил, в кадке. Молоко на окошке, свежее. Хлеб в столе. Лопотину-то сыми, мокрая вся. — Он кивнул на её куртку. — Не по-нашему одёжа, баско, да не греет. Завтра валенки принесу.

— Валенки? — Уточнение Жени осталось без внимания.

Шарик поднялся и пошёл к двери, как будто разговор закончился и для него тоже. Ефим уже взялся за скобу, но обернулся.

— Ночью, коли стукнет что, — сказал он, — не вставай. Скажи: «Свои». И спи.

— Кто стукнет?

— Дом старый, — ответил Ефим. — Мало ли.

Дверь закрылась. Женя слышала, как он спускается с крыльца, как что-то говорит собаке, как хлюпают по грязи сапоги. Потом стало очень тихо. Только печь потрескивала и где-то под полом, в подполе, сухо и коротко щёлкнуло, как щёлкает остывающее дерево.

Она стояла посреди чужой избы, в которой когда-то, говорят, была счастлива, и слушала эту тишину.

Потом сняла мокрую куртку.

Вечер она провела так, как проводила вечера на выездах, в гостиницах при районных отделах: работала. Обошла дом ещё раз, теперь с рулеткой. Заглянула на крытый двор — пустой, с сеном в углу и рассохшимися санями. Дверь со двора в сени запиралась на деревянную вертушку, которая крутилась сама собой. Женя отметила: «Второй вход. Фактически не запирается». Сундук под половиком был заперт, ключа нигде не нашлось, и она решила оставить его на завтра.

Потом села к столу, на третью сторону, подальше от чашек, и попыталась составить оценку. Изба добротная, но дорогу в Заполье не продашь вместе с избой. Сорок километров бездорожья, связь только на холме, магазин три часа в день. В хорошем районе такой дом стоил бы как однушка в Мурино. Здесь стоил ровно столько, сколько за него готов заплатить человек, которому очень нужно именно сюда. «Покупатель: местный, — написала она. — Или ненормальный».

Кофе она не взяла. Это открытие её почти развеселило: двенадцать лет она пила его литрами, а тут собрала сумку и забыла. Она заварила из бабушкиной банки что-то травяное, с мятой и чем-то горьким, и с удивлением поняла, что помнит этот вкус. Не голова помнит — язык.

Накинула крючок на двери в избу и подёргала. Держит.

Спать на бабушкиной кровати она не смогла. Постояла над ней, над высокой подушкой в кружевной наволочке, и не смогла. Легла на широкую лавку у печи, подложила под голову свёрнутый свитер, накрылась курткой, которая уже подсохла и пахла дымом.

Перед тем как погасить свет, она ещё раз посмотрела на стол. Две чашки. Белая с отбитой ручкой. Синяя в горошек. Сахар на блюдце.

«Суеверие — это когда не знаешь, зачем».

Она погасила свет.

* * *

Проснулась она оттого, что скрипнул стул.

Женя не сразу поняла, где она. Темнота была плотная, деревенская, без единого фонаря за окном; только печь ещё светилась сквозь щель заслонки тусклой рыжей полосой. Пахло тёплым кирпичом и мятой. Было тихо. Она уже решила, что ей приснилось, когда стул скрипнул снова — тот, у окна. Тяжело, протяжно, как скрипит под человеком, который садится медленно, по-стариковски, опираясь на стол.

Женя не шевелилась.

Звякнула ложка. Тонко, о край фарфоровой чашки. Помешали чай: раз, другой. Потом раздался звук, который она знала с детства, хотя не помнила, что знает: долгий, с присвистом, глоток с блюдца. Кто-то пил чай, как пьют его старухи в деревнях: налив на блюдце, подув, втянув горячее сквозь зубы.

Её сердце билось часто и ровно. Женя начала считать. Это помогало всегда, с институтских экзаменов: считаешь, и страх становится цифрой. Ложка звякнула три раза. Пауза. Глоток. Ещё два звяка. Кто-то вздохнул — тихо, устало, как вздыхают над остывшим чаем, когда некому подлить. Ещё звяк. Ещё.

Девять.

После девятого стало тихо. Совсем. Не скрипел стул, не шуршала одежда, не было слышно ни шагов, ни дыхания. Только печь, остывая, тикала, как часы.

Женя нашарила телефон под свитером, включила фонарик и направила его на стол.

Никого.

Стул у окна стоял там же, где вечером. Две чашки стояли там же. Она провела лучом по углам, по двери, по чёрному провалу между печью и стеной, откуда пахнуло сухим теплом. Пусто. Крючок на двери был накинут.

«Печь остывает, — сказала она себе. — Дерево сжимается. Кирпич трещит. Мыши. Акустика старого сруба. Двадцать два года не была в деревне, забыла, как здесь звучит ночь».

Голос в голове звучал убедительно. Он всегда звучал убедительно, это был её рабочий голос, которым она двенадцать лет разбирала чужие страхи на пункты.

Она не встала проверить чашки. Сказала себе, что незачем.

Она лежала с включённым фонариком, пока телефон не предупредил о разряде, потом лежала в темноте и слушала. Ничего не было. Под утро, когда окна посерели, она провалилась в сон, короткий и тяжёлый, без сновидений.

Разбудил её петух где-то через три двора и свет. Было начало восьмого, в избе стало прохладно, печь прогорела. Женя села на лавке, растирая затёкшую шею, и посмотрела на стол.

Белая чашка с отбитой ручкой стояла на месте, с тем же бурым осадком на дне.

Синяя в горошек стояла на блюдце вверх дном. Чистая. Женя подошла и, не трогая, наклонилась над ней. Ни корки, ни разводов. Блюдце было пустым. Сахар исчез.

Она отступила на шаг, достала телефон и открыла галерею. Снимок, сделанный вчера в 19:14, был на месте: синяя чашка, засохший чай, кусок сахару с полукруглым следом зубов, рядом жёлтая лента рулетки.

Женя посмотрела на снимок. Потом на стол.

Потом протянула руку и всё-таки коснулась синей чашки. Фарфор был холодный.

И мокрый. Её вымыли совсем недавно.

ГЛАВА 2

Соль

На девятый день душа последний раз по дому ходит. Смотрит, всё ли на месте. Кто что взял.
Из тетради А. Т. Зуевой, 1974

Первым делом Женя проверила вертушку на двери со двора.

Деревянная планка на гвозде стояла вертикально, то есть открыто. Вечером, Женя это помнила точно, она повернула её поперёк. Помнила она и другое: вертушка крутилась сама, стоило хлопнуть дверью в избу. Улика, которая доказывает всё сразу, не доказывает ничего. Женя присела и осмотрела пол в сенях. Доски сухие, ни грязи, ни мокрых следов. Значит, либо входил человек, который снял сапоги, либо никто не входил.

Она вернулась к столу, открыла блокнот и написала под вчерашним: «Несоот. 2. Синяя чашка вымыта ок. 5:00—7:10. Доступ: двор. Следов нет».

Подумала и дописала: «Кто моет чашку в чужом доме и не оставляет следов? Тот, кто здесь не чужой».

Ефим пришёл в начале десятого. И действительно принёс валенки — серые, подшитые кожей — и молча поставил их у печи, как ставят на место вещь, которая там всегда и стояла.

— Вы заходили сюда ночью? — спросила Женя. — Или утром?

— А хоть бы и заходил, — сказал Ефим. — Свои-то сказала?

— Нет.

— Ну дак.

Больше она ничего из него не вытянула. Ефим глянул на перевёрнутую чашку, хмыкнул без всякого удивления, растопил печь и ушёл. Женя без раздумий надела валенки, и ноги согрелись впервые со вчерашнего утра.

* * *

Изба у Ефима была ниже и теснее бабушкиной и насквозь пропахла табаком. На стене над столом висели два берестяных рожка, длинный и короткий, потемневшие от времени. Под ними на табуретке стояла фотография в рамке. Женя не сразу поняла, что на ней бабушка.

Анна Тихоновна смотрела в объектив прямо и чуть насмешливо, будто фотограф сказал что-то глупое и она ждала, когда он сам это поймёт. Сухое лицо, светлые глаза, платок сбился на затылок. Женя вглядывалась в него и ждала, что внутри что-нибудь отзовётся. Но не отозвалось ничего.

Рядом с фотографией стояла стопка водки, накрытая куском чёрного хлеба.

Женя пересчитала собравшихся дважды: двадцать три, потом двадцать четыре, когда вошла ещё одна женщина с кастрюлей. Считать было проще, чем смотреть, как они смотрят на неё. А смотрели все. Не прямо, по-деревенски вежливо: поверх рюмок, сбоку, когда думали, что она отвернулась. «Внучка», — прошелестело от стола к печи. «Ленинградская. Людкина». «Высо-окая». «В Тихоновну». «Да где ж в Тихоновну, Анна махонькая была».

Её усадили на почётное место, рядом с пустым стулом у фотографии. На столе лежали одни ложки. Женя достала из ящика у печи вилку, чтобы подцепить блин, и почувствовала, как её мягко вынимают из пальцев.

— Не надо, деточка, — сказали ей ласково. — Вилкой-то на поминках не тычут. Ложечкой.

Старушка была маленькая, круглая, в белом платке и вязаной кофте, и двигалась так быстро, что Женя не заметила, когда она оказалась рядом. Лицо румяное, в мелких морщинах, глаза тёмные и живые, как у птицы. Она положила вилку обратно в ящик и, не спрашивая, обняла Женю, прижав к себе её голову, как прижимают ребёнка.

От неё пахло пирогами, сушёной ромашкой и чем-то ещё, тёплым и животным, как пахнет в хлеву.

— Вся в Анну, — сказала старушка ей в макушку. — Глаза Аннушкины. Я тебя вот такую помню, Женечка. Ты ко мне за козьим молоком бегала, с бидончиком. Не помнишь? Ну и не помни, нечего. Клавдия я. Баба Клава. Мы с Аннушкой в одном доме выросли, её мамка меня сиротой взяла. Сёстры мы, двоюродные. Были.

Она отпустила Женю, промокнула глаза концом платка и села рядом, на лавку, хотя место было не её. Никто не возразил.

— Ты кушай, кушай. Вот кутья, вот кисель. Рыбник Нинка пекла, у ней рыбник хороший, сочный. — Пальцы бабы Клавы не останавливались ни на секунду: разглаживали скатерть, поправляли блюдце, сучили бахрому платка, будто вытягивали из неё невидимую нитку. Она поймала Женин взгляд и засмеялась. — Руки-то, видишь, просят. Я и вязанье взяла, да на поминках не положено. Так и сижу, как без рук.

— В доме-то не страшно одной? — спросила баба Клава.

— Нет.

— И правильно. Чего бояться, свой дом. — Старушка покивала. — Дует, поди, у порога? Дом старый, низ гнилой. Ты в валенках ходи, не снимай. Ноги застудишь — всё, пиши пропало.

— Ефим дал.

— Ефим даст, — согласилась баба Клава таким тоном, будто это была пословица. — Ефим всё даст, что не его.

С другой стороны стола Ефим, не поднимая головы, сказал:

— Слышу.

— А и слушай, — ласково ответила баба Клава. — Тебе полезно.

За столом засмеялись, впервые за этот день, и начали вспоминать. Как Тихоновна нашла в лесу двух городских грибников, которых искать было уже некому. Как выправила ногу Пашке Сорокину. Как обругала заезжего депутата так, что он больше не заезжал. Женя долго слушала свидетелей и давно заметила то, чего не замечали рассказчики: ни одна история не заканчивалась объяснением. «Нашла. Вывела. Выправила». Как — никто не говорил.

— А что у неё было с Гуляевым? — спросила она тихо, наклонившись к бабе Клаве. Фамилию она слышала уже дважды, оба раза вполголоса.

Баба Клава поджала губы и оглянулась на дверь.

— Судились они, деточка. Витька Гуляев, лесопилка у него на въезде. Землю он хочет, у рощи, где Аннушкин участок. Всё ему мало. Суд в Никольске был, да не досудились. — Она вздохнула. — Теперь, поди, к тебе пойдёт.

Женя кивнула и отложила это в ту часть головы, где лежали вещи, которые пригодятся.

Дверь открылась, впустив холод, и в избу, пригнувшись, вошёл очень большой человек.

Огромные плечи, огромные руки, круглое детское лицо с белёсыми бровями; рукава куртки не доставали до запястий. Он остановился у порога, заслонив весь свет, и медленно, по одному лицу, стал искать кого-то глазами. Нашёл Женю.

— Стёпушка, — сказала баба Клава. — Внук мой. Иди, иди, не стой.

Стёпа подошёл. Вблизи стало видно, что он волнуется: шея пошла красными пятнами, губы шевелились, будто он заранее проговаривал то, что собирался сказать. Он полез в карман и вытащил что-то маленькое, зажатое в кулаке.

— Это тебе.

На огромной ладони лежала птица. Деревянная, светлая, с ладонь. Крылья подняты, будто она только что оттолкнулась от ветки, хвост раскрыт веером, каждое перо прорезано отдельно. Вместо глаз две аккуратные выжженные точки. Женя не сразу взяла её: показалось, что вспорхнёт.

— Липа, — сказал Стёпа. — Липа мягкая. Не колется.

— Спасибо. Она очень красивая.

— Баба велела. — Он помолчал, собираясь с силами для следующей фразы. — Она Стёпу помощничком звала.

— Бабушка Клава?

Стёпа нахмурился, будто вопрос был неправильный.

— Баба, — повторил он и, сочтя дело сделанным, ушёл к печи, где сел на пол, обхватив колени.

— У Стёпки все старухи — баба, — сказал Ефим, разливая. — И Тихоновна баба, и Клавдия баба, и Нинка скоро будет. Он Тихоновне дрова носил, она его кормила. Любил он её.

Женя убрала птицу в нагрудный карман и застегнула клапан.

У окна, на краю лавки, сидела женщина, которую Женя отметила ещё с порога, потому что та единственная за весь день ни разу на неё не посмотрела. Лет сорока, коротко стриженная, в серой флиске. Перед ней стояла чашка чая. За полтора часа она не сделала ни глотка.

— Марина Викторовна, фельдшер наш, — шепнула баба Клава, проследив Женин взгляд. — Золотые руки. Она Аннушку и… ну, бумаги все она.

Женя встала и обошла стол. Марина подняла голову, когда она была уже в двух шагах, и Женя увидела, как напряглись её плечи. Так ждут человека, которого весь день надеялись не дождаться.

— Евгения. Можно Женя. Спасибо вам за всё, что вы для неё…

— Не за что. — Марина поднялась. — Соболезную. Если что нужно, ФАП у моста, я там же и живу. Давление, простуда, что угодно.

— Я хотела спросить про ту ночь. Как она…

— Потом. — Марина уже снимала куртку с крючка. — Извините. Мне на вызов.

Она вышла, не попрощавшись ни с кем. Связь в Заполье ловила только у башни на холме, и за последние полчаса в избу никто не входил. «Вызов пришёл пешком», — записала Женя мысленно. Потом посмотрела на нетронутую чашку чая. Сахарница стояла рядом, полная, и колотые куски в ней были такие же, что вчера лежали на блюдце. Старого образца, такие в деревне покупают мешками.

Совпадение. Таким сахаром здесь пьют чай все.

* * *

Гуляев приехал в половине четвёртого: двигатель большой машины, хлопок двери, тяжёлые шаги по крыльцу. Разговор за столом стих, как стихает класс, когда входит завуч.

Крупный, с короткой седой стрижкой и лицом, красным ровно, до шеи, с синеватыми жилками на скулах: так краснеют гипертоники, которые не пьют таблетки. Дорогая кожаная куртка, часы напоказ. Он вошёл, не разуваясь, оглядел избу, как оглядывают склад перед покупкой, и нашёл Женю сразу, без подсказок.

— Гуляев. Виктор Семёнович. — Ладонь была сухая и горячая. — Соболезную. Тихоновна была женщина с характером. Уважал.

Он положил конверт рядом с фотографией. Не просто на стол, отметила Женя, а прямо под стопку с хлебом, так, чтобы видели все.

— Вы бы присели, Виктор Семёнович, — сказала баба Клава с лавки. — Лицо-то какое. Давление?

— Пью я травки, пью. — Он махнул рукой, не глядя на неё. — Присесть некогда. Евгения Сергеевна, разговор есть. Деловой. Можно на минуту?

— Можно здесь.

Он посмотрел на неё внимательнее, усмехнулся и решил, что можно здесь.

— Дом и участок. Вам они ни к чему, вы человек городской. А мне с моей стороны удобно. Даю триста. Наличными, сразу, юриста своего дам, он всё оформит, вам ездить никуда не надо. — Он помедлил. — По здешним меркам хорошие деньги. Спросите кого хотите.

Женя спрашивать не стала. За окном у большого чёрного внедорожника курила молодая женщина в белой куртке, слишком белой для здешней грязи. Курила быстро, жадно и смотрела не на дом, а куда-то мимо, на лес.

— Вы судились с моей бабушкой, — сказала Женя. — За землю у рощи.

— Было дело. — Гуляев не смутился. — Земельный спор, обычное дело. Теперь спорить не с кем, а вы мне не враг. Я по-хорошему пришёл.

— Вы пришли на поминки с ценой, — сказала Женя ровно, тем голосом, которым на работе зачитывала выводы. — Не через месяц и не через полгода, а на девятый день, при свидетелях, и цену назвали раньше, чем я успела спросить. У меня в таких делах двенадцать лет стажа, Виктор Семёнович. Когда покупатель так торопится, это значит, что он знает про объект что-то, чего не знает продавец. Сначала я узнаю, что именно. Потом поговорим.

В избе стало очень тихо. Кто-то у печи поставил рюмку и тут же пожалел, что звякнул.

Гуляев смотрел на неё секунды три. Женя смотрела в ответ и считала: раз, два, три. На скулах у него проступили белые пятна.

— Ну-ну, — сказал он наконец. — Узнавайте.

Он вышел, не закрыв дверь. Взревел двигатель, женщина в белой куртке бросила сигарету в лужу и села в машину, не оглянувшись. Ефим встал, прикрыл дверь и вернулся на место.

— Ну дак, — сказал он в тишине, и в этих двух словах было столько удовольствия, что за столом снова засмеялись. Нинка-продавщица подмигнула Жене через стол. Женя поняла, что сделала сейчас что-то, о чём к вечеру будет знать вся деревня. Она не была уверена, что это хорошо.

Баба Клава смотрела на неё ласково и задумчиво, как смотрят на тесто, которое хорошо подходит.

— Анна бы тоже так сказала, — проговорила она. — Слово в слово.

* * *

В дом бабушки Женя вернулась в начале шестого. Небо над лесом уже темнело, у реки поднимался туман.

Она сделала то, что было разрешено: убрала со стола.

Белая чашка с отбитой ручкой. Женя вылила из неё бурую корку, которая не хотела отставать, и понюхала. Мята и что-то горькое, то же, что она заварила себе вчера из банки у окна. Бабушка пила это в последнюю ночь. Женя мыла чашку долго, дольше, чем нужно, потом вытерла и поставила на полку рядом с синей. Две чашки, вымытые, рядом. Теперь это был просто стол. Просто клеёнка в мелкую клубнику.

Ухват, тяжёлый, с отполированной до блеска ручкой, мешался у шестка. Женя переставила его в угол между печью и стеной, рогами вверх. Покачала: стоит.

Потом записала поминки: имена, кто где сидел, кто что сказал. Гуляев: «знает что-то про участок — выяснить что». Марина: «избегает. Вызов без связи. Не пьёт». Баба Клава: «двоюр. сестра А. Т. Говорит много. Полезна».

Птица лежала на столе перед ней, подняв крылья.

В дверь постучали в двадцать минут восьмого. За окнами было уже темно: здесь темнело разом, будто задёргивали шторку.

На крыльце стояла баба Клава в накинутой на голову шали.

— Не напугала, Женечка? Я на минуточку. — Она шагнула в сени, потом в избу, не дожидаясь приглашения, и огляделась. Взгляд скользнул по чистому столу, по полке с чашками, по

печи, задержался у порога и вернулся к Жене. — Убрала уже? Ну и правильно, девятый день, теперь можно. Деточка, соли не дашь? Кончилась, а у меня тесто на завтра. Магазин-то закрыт, Нинка до понедельника не откроет.

— Конечно.

Соль у бабушки стояла на полке у печи в берестяной солонке с крышкой, тёмной от рук. Женя оторвала полоску от старой «Сельской нови», лежавшей на растопку, свернула кулёк, как когда-то, оказывается, умела, и насыпала в него соли. Щедро, две горсти. Баба Клава смотрела, как она сыплет, и молчала. Это было необычно: за весь день Женя не слышала, чтобы она молчала дольше трёх секунд.

— Хватит?

— Хватит, деточка. — Баба Клава взяла кулёк обеими руками, бережно, как берут что-то живое, и прижала к груди. — Спасибо. Анна мне никогда не отказывала. Никогда.

Она пошла к двери. Остановилась на пороге, обернулась, будто хотела что-то добавить, но только улыбнулась и шагнула через порог в сени.

За спиной у Жени с грохотом упал ухват.

Он ударился о пол так, что подпрыгнула заслонка, и железные рога звякнули о половицы. Женя обернулась. Ухват лежал посреди избы, ручкой к порогу, рогами к печи, как стрелка, которая на что-то указывает.

Баба Клава в сенях даже не вздрогнула.

— Ишь, — сказала она из темноты. — Старый дом, деточка. Всё у него с норовом. Не любит, когда уходят. Спокойной ночи, Женечка.

Хлопнула наружная дверь. Женя постояла, потом подняла ухват и снова прислонила его в угол. Покачала. Он стоял. Она толкнула его сильнее, рукой. Он стоял.

«Пол неровный, — сказала она себе. — Дом проседает. Сквозняк из сеней». Она знала, что сквозняк не роняет три килограмма железа. Знала и то, что в аварийном бараке на Обводном однажды при ней сама распахнулась дверь шкафа, и инженер полчаса объяснял ей про перекос рамы.

Перекос рамы. Хорошее объяснение.

Она открыла блокнот и по привычке записала: «19:20. К. — соль. Ухват упал». Подумала и добавила: «Перекос рамы?» Вопросительный знак вышел жирнее, чем ей хотелось.

* * *

К ночи поднялся ветер. Он гудел в трубе низко и ровно, будто кто-то большой дул в горлышко пустой бутылки. Женя лежала на лавке у печи, в валенках, под курткой и Ефимовым одеялом, которое он молча оставил утром на сундуке, и смотрела в темноту.

Деревянная птица стояла на столе. Женя не видела её, но знала, где она.

Она думала о том, что Гуляев теперь её враг. Что Марина ей врёт, и непонятно, о чём. Что баба Клава за один день рассказала ей больше, чем вся деревня. И о том, что ухват не падает от сквозняка.

Она почти заснула, когда стукнула печная заслонка.

Не звякнула, как от ветра, а именно стукнула: коротко, сильно, так стучат кулаком в дверь, когда за ней не открывают. Женя открыла глаза. В трубе гудело. Ничего больше.

Ефим говорил: коли стукнет, скажи «свои».

Это было глупо. Тридцать один год, двенадцать лет стажа в отделе безопасности, сотни миллионов чужой страховки, и она лежит и решает, говорить ли печке слово, которое велел сказать деревенский пастух.

— Свои, — шёпотом сказала Женя.

Ветер в трубе стих. Целиком, разом, будто кто-то прикрыл горлышко ладонью.

И в этой тишине из-за печи, из тёмной щели между тёплым кирпичом и стеной, сухой старушечий голос отчётливо сказал одно слово:

— Дура.

ГЛАВА 3

Новая Тихоновна

Пропажу ищи не там, где лежит, а у того, кому она нужна. Сама вещь из дому не уходит.
Из тетради А. Т. Зуевой, 1983

Утром Женя записала в блокнот показания единственного свидетеля.

«Ночь 26/27. Ок. 23:40 (?). Стук заслонки. Ответ „свои“. Ветер стих. Голос из-за печи: „дура“».

Ниже, после паузы, она дописала оценку, как дописывала в сотнях чужих дел: «Свидетель ненадёжен. Недосып двое суток, стресс, засыпала. Гипнагогическая иллюзия». Слово было хорошее, длинное, из настоящей медицины. Она подчеркнула его дважды и закрыла блокнот.

Свидетель, конечно, была она сама. Это немного портило дело.

В половине восьмого в дверь заколотили так, будто за ней горело.

На крыльце стояла женщина лет шестидесяти пяти, в галошах на шерстяной носок, в мужском пиджаке поверх халата, с мокрым от слёз лицом. В руке она держала медный колокольчик на обрезке ремня.

— Зорька пропала, — сказала женщина вместо «здравствуйте». — Ты уж посмотри, милая. Тихоновна бы враз нашла.

— Я не бабушка, — сказала Женя.

— Да знаю я, что не бабушка. — Женщина вытерла лицо рукавом пиджака. — Пахомова я, Валентина. Тётя Валя. Клавдия Егоровна вчера сказала: ты в Анну. Слово в слово, говорит, как Анна, Гуляеву-то. Посмотри, а? Одна она у меня. Кормилица.

Женя хотела закрыть дверь. Потом посмотрела на колокольчик.

Пропажа имущества. Заявитель на месте, вещдок в руке, след свежий. Сколько раз она выезжала на такие дела, только коров среди них не было. Был один раз жеребец за четыре миллиона, который нашёлся у тренера в Ленобласти.

— Заходите, — сказала она и взяла блокнот.

* * *

Опрос занял двадцать минут. Тётя Валя путалась и плакала, но Женя умела вести разговор, как ведут корову на верёвке: не дёргая, но и не давая свернуть.

Картина получилась такая. В субботу утром тётя Валя вывела Зорьку на луг за огородом и привязала к колышку. В два ушла к Ефиму на девятины. Вернулась в шестом часу: колышек на месте, верёвки нет, коровы нет. Искала до темноты, звала. Утром внук, приехавший на выходные, пошёл по дороге к вырубке и нашёл на обочине, у самого леса, вот это.

— Ботало, — сказала тётя Валя, протягивая колокольчик. — Зорькино.

— Ботало?

— Ну, колоколец. Чтоб слышно было, куда ушла.

Женя взяла его в руки. Медный, тяжёлый, с вмятиной на боку. Ремешок старый, потрескавшийся. А срез на ремешке был ровный, косой, без лохматых краёв. Порванная кожа так не выглядит. Так выглядит кожа, которую перерезали ножом.

— Колышек выдернут?

— Да нет, стоит. Верёвку-то она, видать, перетёрла.

— Конец верёвки остался на колышке?

Тётя Валя открыла рот и закрыла.

— Не остался, — сказала она медленно. — Чисто.

Женя кивнула. Корова может оборвать верёвку. Корова не может её отвязать. И уж точно корова не станет срезать с себя колокольчик, а потом аккуратно бросать его на обочине у леса, чтобы хозяйка решила: ушла, мол, к волкам.

«Инсценировка, — записала она. — Ложный след к лесу».

— Кто знал, что вы в субботу весь день будете у Ефима?

— Да все, деточка. Все там и были.

— Не все, — сказала Женя.

Вчера на поминках она пересчитала людей дважды. Цифра сама по себе ничего не значила, но рядом с ней в памяти стояли лица, и Женя попросила тётю Валю назвать тех, кого за столом не было. Дачники из крайнего дома уехали ещё в среду. Нинин муж был в Череповце. И Генка Шумилов.

— Спину у него прихватило, — сказала тётя Валя. — Он так Нинке сказал.

— Вы с ним в ссоре?

Тётя Валя поджала губы, и по этому движению Женя поняла ответ раньше, чем услышала его. В августе Зорька сорвалась с привязи и прошлась по Генкиному огороду. Сорок кочанов капусты. Генка требовал три тысячи. Тётя Валя сказала ему, что за такую капусту и трёхсот много.

— А сегодня утром у колодца, — продолжила она уже сама, — он мне говорит: «Колоколец-то, поди, у леса найдёшь. Волки нынче». Сочувствовал.

— Во сколько вы были у колодца?

— Семи не было.

— А внук нашёл колокольчик?

Тётя Валя посмотрела на ботало в своих руках. Потом на Женю.

— В восьмом, — сказала она. — Он позже пошёл.

Женя закрыла блокнот.

В её прежней работе это называлось «знание, которое заявитель не мог иметь». Хозяин сгоревшего склада однажды рассказал ей, где именно начался пожар, за два дня до того, как это установили пожарные. Он думал, что сочувствует.

* * *

Дом Шумилова стоял через три двора, ближе к реке. Женя шла по улице, и улица шла вместе с ней: в каждом окне шевельнулась занавеска, на двух крыльцах оказались женщины, которым вдруг понадобилось вытряхнуть половики. Тётя Валя шагала рядом и громко, на всю деревню, шептала: «Сейчас найдёт».

Через два двора от бабушкиного дома, у колышков на лужке, паслись три козы, чёрные и лохматые, как головёшки. В окне за ними сидела баба Клава. Женя видела, как ходит у неё в руках веретено, как тянется из кудели нитка. Баба Клава подняла голову, улыбнулась и помахала, не останавливая веретена.

У Генкиного дома было тихо. Пёс на цепи при виде чужих даже не поднял головы. У сарая на земле были рассыпаны клочья свежего сена, и одна лепёшка, прикрытая соломой небрежно, по-мужски, лежала прямо у двери.

Шумилов вышел на крыльцо с ведром воды в каждой руке. Крепкий, лет пятидесяти, в майке, несмотря на холод. Вёдра он нёс легко.

— Как спина? — спросила Женя.

Он поставил вёдра.

— Чего?

— Спина. Вчера у вас её прихватило. Сейчас, я вижу, отпустило.

Генка посмотрел на неё, на тётю Валю, на соседей у забора. Так смотрит человек, который подсчитывает свидетелей своей лжи, и выходит, что много.

Из сарая, будто по заказу, протяжно и обиженно замычали.

Тётя Валя ахнула и бросилась к двери. Генка не стал её останавливать. Он сел на ступеньку крыльца и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Не крал я. В залог взял. За капусту.

— И подоили её тоже в залог? — спросила Женя, кивнув на пустой подойник у ступеньки.

— Дак не пропадать же, — сказал Генка с искренней обидой. — Её доить надо, она ж орёт.

У забора засмеялись. Женя вдруг поймала себя на том, что ей хочется засмеяться тоже, и не стала себе мешать.

Дальше было урегулирование, и его Женя знала лучше всего. Ущерб от потравы: сорок кочанов. Встречный ущерб: самовольное удержание имущества и надоенное молоко. Тётя Валя платит полторы тысячи, Генка возвращает корову, и обе стороны больше не вспоминают о капусте при посторонних. Генка поторговался для порядка и согласился. Тётя Валя поторговалась для порядка и заплакала.

Обратно Зорьку вели всей улицей, под звон ботала, которое тётя Валя наскоро привязала обратно на верёвочку.

К обеду деревня знала, что внучка Тихоновны глянула вдоль улицы и, ни у кого не спросив, пошла прямо к Генкиному сараю. К вечеру добавилось, что перед этим она подержала в руке ботало и пошептала.

* * *

Галина Сорокина пришла в четвёртом часу. Принесла трёхлитровую банку мёда, поставила её на стол, как ставят залог, и только после этого села.

— Порча на мне, деточка, — сказала она деловито, как говорят о давлении. — Третью неделю. Встану, и в глазах темно, шатает. Сглазили в Никольске, в поликлинике, там одна в очереди всё на меня глядела.

— Галина…

— Петровна. Сорокина я. Пашкина жена. Тихоновна ему ногу правила.

— Галина Петровна, вы что-нибудь пьёте? Таблетки?

— От давления пью. Как положено.

— Принесите, пожалуйста, всё, что пьёте. Все коробки.

Через десять минут Галина вернулась с пакетом. Женя высыпала коробки на стол и разложила в ряд, как раскладывала когда-то медицинские документы по ДМС.

Таблетки от давления действительно были. Одна коробка — из никольской аптеки, по рецепту, с фамилией врача. Вторая — пёстрая, с другим названием, крупными буквами.

— Это дочка из Вологды прислала, — сказала Галина. — Говорит, импортное, получше. Я и пью. Утром эти, вечером те.

Женя повернула обе коробки торцом и прочитала мелкий шрифт под названиями. Действующее вещество было одно и то же. Одна и та же дозировка.

В страховых делах это называлось двойным страхованием одного риска, и ничего хорошего из него никогда не выходило. Здесь тоже.

— Галина Петровна, — сказала Женя, — это одно и то же лекарство. Просто названия разные. Вы пьёте двойную дозу. Поэтому давление падает, поэтому шатает. Отнесите обе коробки Марине Викторовне, прямо сейчас, и спросите, какую оставить. И не пейте ничего до неё.

Галина посмотрела на одну коробку, на другую, потом на Женю и медленно, с торжественным облегчением кивнула.

— Мёд оставь, — сказала она от двери.

— Не нужно, правда…

— Тихоновне всегда платили. Без платы не держится.

Что не держится, она не объяснила.

Вечером Нина, проходя мимо с ведром, крикнула Жене через забор: «Маринка говорит, одно и то же пила! Отвела ты от неё, Женя!» И пошла дальше, довольная, будто это она отвела.

* * *

В понедельник утром Женя собиралась в Никольск. Нотариус Лебедева принимала с девяти, и Женя рассчитала, что, выехав в семь, до девяти успеет, если не застрянет у башни.

Ключей от машины не было.

Вечером она положила их на стол. Это она знала точно: телефон, блокнот, ключи, всегда в одну линию, с краю, привычка из командировок. Птица Стёпы стояла рядом, на своём месте, подняв крылья. Телефон лежал. Блокнот лежал. Ключей не было.

Женя искала так, как искали на пожарищах: по квадратам, от двери по часовой стрелке. Стол, лавки, пол под лавками. Печь, шесток, подпечек, из которого она вытащила кочергу, два чугунка и окаменевший валенок. Карманы куртки. Сени. Крытый двор, где в прошлогоднем сене нашлось только мышиное гнездо. Машина, запертая. Путь к колодцу и обратно. Сундук стоял запертый, как и прежде. Женя всё равно постучала по крышке.

К обеду она признала, что ключей в доме нет. Это было невозможно. Значит, одно из допущений было неверно.

Допущение первое: ключи лежали на столе. Верно, она помнила.

Допущение второе: в дом никто не входил. Вертушка на двери со двора стояла открытой. Опять.

Женя записала: «Ключи пропали в ночь 27/28. Доступ: двор. Кто-то не хочет, чтобы я ехала в Никольск». Последняя фраза звучала параноидально. Но она её оставила.

* * *

В сумерках она вернулась со двора, где второй раз перебрала сено, и не стала сразу включать свет.

В избе было почти темно. Окна гасли, как гаснут угли: синее, потом серое, потом ничего. Печь, которую она днём протопила, отдавала тепло ровно и тихо, и в этом тепле стоял запах мяты.

У печи, на низкой скамейке, сидела бабушка.

Женя увидела её всю сразу, как видят знакомое лицо в толпе, не по частям. Маленькая. Платок сбился на затылок. Руки на коленях, ладонями вниз. Сидела боком, глядела на заслонку, будто ждала, когда поспеют пироги, и чуть покачивала головой, как покачивают в такт мыслям.

— Бабушка? — сказала Женя.

Слово вышло само. Она не решала его говорить.

Рука нашла выключатель. Лампочка под потолком вспыхнула, мигнула один раз, словно моргнула, и загорелась ровно.

У печи никого не было.

На скамейке лежало сложенное вчетверо Ефимово одеяло. Рядом, на лавке, её куртка. Ухват стоял в углу рогами вверх.

Женя тронула одеяло. Холодное. Складки ткани, тень от ухвата, свет из окна под таким углом. На поминках она полтора часа смотрела на бабушкину фотографию, два дня почти не спала. Мозг дорисовывает знакомое там, где его нет: это было даже в учебнике криминалистики, в главе о ненадёжности свидетелей.

Она записала: «18:34. Зрит. иллюзия (освещение, усталость)».

Утром, Женя это помнила, одеяло лежало на сундуке.

Это она записывать не стала.

* * *

Ефим пришёл, когда она уже поставила чайник. Шарик проскочил в избу у него между ног, процокал когтями к печи, сел перед пустой скамейкой и застучал по полу хвостом, как стучат собаки, когда видят своих.

— Нашла ключи-то? — спросил Ефим.

— Нет. Вы откуда знаете, что я их ищу?

— Генка видал, как ты в машину заглядывала. Все знают. — Он сел к столу, глянул на неё внимательно, и насмешка в его глазах куда-то ушла. — Видала, что ли?

— Что видела?

— Хозяина.

Женя открыла рот, чтобы сказать «кого», и не сказала. Ефим кивнул, будто она ответила.

— Дедушко-соседушко, — сказал он. — За печью живёт. Он не злой, если по-хорошему. Ключи он взял. Не хочет, чтоб уехала.

— Домовой взял мои ключи.

— Ну.

— И теперь он выглядит как моя бабушка.

— А как ему ещё выглядеть? — Ефим пожал плечами. — Своего лица у него нету. Чьё в доме дольше всех жило, то и надевает. Шестьдесят годов тут Тихоновна жила. Он с ней с девчонки. Чьё ему ещё носить.

— Ефим Павлович…

— А ещё работнички у неё были. Не он, другие. — Ефим поскрёб подбородок. — Тем без работы худо. Сама увидишь ещё. Ты, главное, их не корми и не ругай. Ничего им не обещай.

Женя засмеялась.

Смех поднялся из двух бессонных ночей, из коровы в залог, из одеяла на скамейке, и она смеялась, пока не потекли слёзы, а Ефим ждал, как ждут, когда пройдёт дождь.

— Простите, — сказала она наконец. — Ефим Павлович, я всю жизнь доказываю людям, что пожар устроили они сами, а не короткое замыкание. А тут работнички. И дедушка за печью, который носит лицо моей бабушки и ворует ключи от «Шкоды».

— Смейся, — сказал Ефим без обиды. — Тихоновна тоже смеялась. До шестнадцати годов.

— А потом?

— А потом перестала. — Он поднялся, позвал Шарика. Шарик неохотно отошёл от скамейки. — Попроси его. По-хорошему, без насмешки. Отдаст.

— Завтра я обыщу баню, — сказала Женя. — Это единственное место, где я не искала.

Ефим остановился у двери.

— В баню одна не ходи.

— Почему?

— Её с Тихоновны никто не топил. Стоит холодная. — Он подумал, подбирая слова. — Холодная баня — она пустая не бывает.

Он ушёл. Женя посидела над остывающим чаем, потом погасила свет и легла на лавку, в валенках, под куртку.

Темнота у печи была густая, плотнее, чем в остальной избе.

— Ладно, — сказала Женя в эту темноту, чувствуя себя полной идиоткой. — Дедушко-соседушко. Отдай ключи. Пожалуйста.

Никто не ответил. Она и не ждала.

* * *

Во вторник приехала автолавка, и Женя узнала, что она теперь Тихоновна.

Так её назвали в очереди за кофе, которого, как выяснилось, в автолавке не бывает: «Тихоновна новая». Незнакомая женщина сунула ей десяток яиц и не взяла денег. Другая спросила, не посмотрит ли она внука, а то кашляет. Женя сказала, что внука надо показать

Марине, и женщина закивала так, будто получила тайный совет. Чёрный внедорожник Гуляева проехал мимо очереди медленно, почти шагом. Стекло было тонированное, но Женя знала, что он смотрит.

Днём она села за стол и сделала то, что умела. Начертила в блокноте план участка, как чертят схему места происшествия. Дом. Сени. Двор. Машина. Тропа к колодцу. Огород. У ручья, внизу, маленький квадрат, баня. Обыскано всё, кроме него.

Если ключи взял человек, шутник или тот, кто не хочет, чтобы она ехала в Никольск, он спрятал их там, где ей в голову не придёт смотреть. Там, где она ни разу не была.

Если ключи взял кто-то другой…

Никто другой ключей не брал.

К бане она спустилась в сумерках, одна, потому что Ефим сказал не ходить одной, и это само по себе было достаточной причиной. Баня стояла у ручья, низкая, чёрная, вросшая в землю по самые окошки. Дверь держалась на деревянной щеколде. Женя подняла щеколду и вошла.

Внутри было тепло.

Не так, как бывает тепло в деревянном доме на солнце. Это было другое тепло, сухое и плотное, банное: оно сидело в брёвнах, в полке, в чёрных от копоти стенах, как сидит жар в остывающем камне. Пахло берёзовым листом и дымом.

Женя посветила телефоном на каменку. Чугунная дверца топки была прикрыта неплотно.

Она открыла её.

На золе, аккуратно, посередине, как кладут на блюдце, лежали её ключи. Брелок с логотипом страховой компании, ключ от машины, ключ от квартиры на Васильевском.

Она взяла их. Металл был тёплым, как будто его долго держали в руке.

Женя сунула пальцы в золу под ними.

Зола была тёплой тоже. Не горячей: тёплой, как только что вынутый из печи хлеб, который отложили остывать. Как бывает через несколько часов после того, как протопили.

Баню не топили с того дня, как умерла бабушка. Одиннадцать дней.

ГЛАВА 4

Тетради

Пиши всё. Что записано — то твоё. Что вырвано — то за тебя другой помнит.
Из тетради А. Т. Зуевой, 1980

Ключ от сундука нашёлся там, где его не стал бы искать ни один вор.

Ходики висели чуть криво, не вплотную к стене, и Женя заметила это только утром тридцатого, когда в восьмой раз обводила взглядом избу. Она сняла их с гвоздя осторожно, как снимают со стены улику, стараясь не тронуть стрелки. Без пяти три. Пусть так и будет. За ходиками на том же гвозде висел на суровой нитке маленький ключ с витой головкой, тёмный от времени.

«Хранение ключа: на виду, за предметом, который никто не трогает, — записала она. — Владелец рассчитывал, что часы не снимут. Кроме того, кто будет их чинить».

И ещё одна мысль пришла, чужая, будто кто-то сунул её в карман, как записку: часы давно пора отдать в починку. Откуда она это знает, Женя не поняла.

Сундук открылся туго, со вздохом. Пахнуло нафталином, сухой бумагой и мятой.

Сверху лежала папка на завязках, и Женя выдохнула: документы. Свидетельство о праве собственности девяносто восьмого года, кадастровый план участка с печатями, домовая книга, техпаспорт с пожелтевшим чертежом. Всё было сложено по порядку, без единой лишней бумажки. Так складывают дела люди, которые знают, что кто-то другой будет их разбирать.

Под папкой были тетради.

Много. Женя раскладывала их на столе по годам, и стол быстро кончился. Школьные в клетку, общие в коленкоре, конторская книга с синим штампом «Колхоз „Рассвет“». На каждой обложке стояли год или два года через черту, тем же острым почерком, что на новогодних открытках. Почерк менялся вместе с годами: округлый и старательный в шестидесятых, сухой и быстрый в восьмидесятых, а в последних тетрадях буквы стояли крупно и с нажимом, как пишут люди, которые начинают плохо видеть.

1966. 1967—1968. 1969. Дальше без пропусков. Последней в стопке была тетрадь за двадцать пятый год.

Двадцать шестого не было.

Женя отметила это и открыла первую.

На внутренней стороне обложки, крупно, подчёркнуто дважды: «Вера не нужна. Нужна точность. Записывать всё».

Она перечитала эту строчку несколько раз. Двенадцать лет она объясняла молодым сотрудникам ровно это, только длиннее и хуже. «Неважно, веришь ты заявителю или нет. Важно, сходится ли у него время». Шестнадцатилетняя деревенская девочка уложила её профессиональное кредо в семь слов и подчеркнула двумя линиями.

Первая запись, апрель шестьдесят шестого, была короткой: «Мама три дня маялась. Я сказала „беру“, и она ушла. Клава стояла в дверях». Дальше шли страницы, которые Женя пролистала, не понимая: столбики слов без знаков препинания, обрывки, похожие на считалки. Потом рецепты. Мята, зверобой, ромашка, сколько щепоть, сколько горсть, когда собирать. «Белену в руки без варежки не брать. Глаза от неё как у кошки». Потом снова считалки.

Она взяла тетрадь наугад из середины стопки, восьмидесятые, и попала на дневник.

«Март. У Пахомовых тёлка. Ефим опять пьёт, к выгону выйдет». «Сорокин Пашка ногу сломал на лесопилке, кость наружу. Правила. За Пашкину ногу — мамин голос. Не помню теперь, как она пела. Помню, что пела». «Июнь. Людка пятёрку по химии принесла. Гордая».

Женя прочитала про Пашкину ногу дважды. Галина Сорокина вчера, в очереди у автолавки, сказала ей, что муж до сих пор ходит не хромая. Сорок лет.

За Пашкину ногу — мамин голос.

Это могла быть метафора. Женщина, которая слишком много работает и мало спит, начинает забывать, а потом объясняет себе забытое как плату. Люди всегда ищут смысл в потерях. На этом держится половина страховых претензий.

Она нашла тетрадь за 2004 год.

Общая, на скрепках, в серой обложке. Январь, февраль, март: тёлки, роды, чья-то свадьба, «дрова кончаются», «Людка звонила, говорит — привезёт Женьку в июне». Июнь. «Женька приехала. Вытянулась. На меня глядит, как Людка в её годы». «Женька поймала ерша. Гордая, носила по всей деревне». «Просится в баню с большими. Рано».

Двадцать девятое июня. Дальше не было ничего.

Женя положила тетрадь на стол, раскрыв её на сгибе, и включила фонарик телефона, хотя в избе было светло. Скрепки были разогнуты, листы вынуты, скрепки загнуты обратно. Аккуратно, ни одного надрыва, ни одного клочка у корешка. Она пересчитала оставшиеся листы: тридцать шесть из сорока восьми. Вынуто три двойных листа, двенадцать страниц.

Так не рвут в сердцах. Так изымают.

Следующая запись была сделана другой ручкой, синей вместо чёрной, и почерк в ней был мельче, словно рука не слушалась: «Сентябрь. Тихо. Людка не звонит. И не позвонит. Правильно». Ниже, через строку: «Не помню, какие у Женьки глаза. Пишу, чтобы знать, что забыла».

Женя посидела над этой строчкой.

Потом закрыла тетрадь, убрала её в сумку вместе с папкой документов и пошла заводить машину. Было без двадцати девять. До Никольска два часа, если не застрять у башни.

* * *

Нотариус Лебедева оказалась ровно такой, как её голос: женщина за пятьдесят в вязаном жилете, с очками на цепочке и усталым терпением человека, который тридцать лет объясняет людям, что закон не обязан им нравиться.

— Шесть месяцев, — сказала она. — Со дня открытия наследства. Анна Тихоновна умерла восемнадцатого сентября, значит, свидетельство я вам выдам не раньше восемнадцатого марта. Заявление о принятии сейчас подадим, это правильно. А распоряжаться имуществом до свидетельства вы не можете.

— То есть продать дом…

— В марте. Если найдёте покупателя.

Женя знала об этом. Просто не вспомнила, когда ехала «оценить имущество», и отметила это с неудовольствием: оценщик должен знать сроки.

— Покупатель уже есть, — сказала она.

Лебедева подняла глаза от бумаг.

— Гуляев?

— Вы его знаете?

— Евгения Сергеевна, это Никольск. — Нотариус сняла очки, и они повисли на цепочке. — Виктор Семёнович здесь знает всех, кто подписывает бумаги. Он звонил мне двадцать первого, справлялся, есть ли завещание. Я ему, разумеется, ничего не сказала.

Двадцать первого. В тот день, когда мать прислала сообщение. Гуляев узнал о наследстве раньше, чем Женя.

Она записала это и спросила, какой бабушка была, когда приходила.

— Бодрая. Приехала третьего сентября на попутке, сама, без провожатых. Всё продиктовала за десять минут, ни одного лишнего слова. — Лебедева помолчала, постукивая ручкой по столу. — Я такие вещи обычно не пересказываю. Но она спросила меня, можно ли завещать то, что нельзя потрогать. Я сказала, что нет, только имущество и права. Она засмеялась и сказала: «Ну, это и не через вас».

— Что она имела в виду?

— Понятия не имею. — Нотариус надела очки обратно. — Подпишите вот здесь. И здесь.

* * *

Из Никольска она выехала поздно, с полным багажником продуктов и двумя банками растворимого кофе: другого в Никольске не нашлось, и она купила его, презирая себя. На выезде из райцентра телефон, словно наконец сообразив, что связь есть, выплюнул разом одиннадцать уведомлений. Женя пролистала их, не читая, и нашла в контактах «Мама».

Не останавливаясь, Женя нажала вызов. Гудки шли долго.

— Да, — сказала мать. Не «алло», не «Женя». «Да», как отвечают на работе.

— Это я.

— Я вижу. — Пауза. — Ты где?

— В Заполье.

На том конце стало так тихо, что Женя посмотрела на экран, не оборвалась ли связь. Связь не оборвалась.

— Я же написала тебе, — сказала мать. Голос у неё был ровный, слишком ровный, как у человека, который держит в руках что-то горячее. — Я написала: не приезжай.

— Ты написала через день после похорон.

— Ты бы поехала.

— Да, — сказала Женя. — Поехала бы.

Мать промолчала. Женя знала это молчание с детства: оно означало, что разговор, по мнению матери, окончен, и продолжать его — неприлично.

— Бабушка оставила мне дом.

— Продай.

— До марта нельзя. Мама, что было летом две тысячи четвёртого?

— Ничего не было. Ты заболела. Воспаление лёгких, я тебя забрала. — Это прозвучало быстро, без паузы, как звучат ответы, которые человек заранее приготовил и много раз произносил про себя. Женя слышала такие ответы сотни раз. — Женя, послушай меня. Там её тетради. Сожги их. Всё сожги и уезжай.

— Откуда ты знаешь про тетради?

— Я там выросла. — Голос дрогнул в первый раз. — Женя. Она тебе ничего не говорила? Никто тебе ничего не давал?

— Она умерла, мама.

— Я не про неё. — Мать говорила теперь тише и быстрее, будто боялась, что кто-то услышит. — Ничего там не бери. Слышишь меня? Ничего не бери. Что бы ни предлагали, кто бы ни просил. Ни у кого.

— Мам, что значит…

Короткие гудки.

Женя перезвонила. Абонент был недоступен. Она перезвонила ещё раз, и ещё, потом связь пропала.

Мать не умела бросать трубку. Она никогда не бросала трубку, это было ниже её достоинства. Она прощалась, всегда, даже в худшие годы, сухо и правильно: «Всего доброго, Евгения».

Значит, это была не она. Это была связь.

Или мать просто не смогла договорить.

* * *

Участковый приехал на следующий день, в одиннадцатом часу, на уазике с синей полосой, заляпанном грязью до самых стёкол.

Высокий, худой, в форменной куртке нараспашку, тёмные волосы с ранней сединой на висках, щетина дня на три. У калитки он постоял, оглядывая двор, крыльцо, машину, и что-то записал в блокнот. Женя поймала себя на том, что смотрит на этот блокнот с профессиональной ревностью.

— Мезенцев Андрей Николаевич, — сказал он на крыльце, раскрыв удостоверение ровно настолько, сколько положено. — Участковый уполномоченный. Ракитина Евгения Сергеевна?

— Да.

— Так. — Он убрал удостоверение. — Заявление на вас. От гражданина Гуляева. Пройдём к забору?

— Какому забору?

— А у вас их много?

Забор был за огородом, в самом конце участка, там, где картофельные гряды упирались в некошеную траву, а трава — в первые берёзы рощи. Старый, из серых жердей, местами подпёртый кольями. Мезенцев шёл по меже между грядами, не глядя под ноги, как ходят по знакомым местам.

— Гуляев утверждает, что ограждение установлено на его земле, — сказал он, остановившись в двух шагах от забора. — На спорном участке, по которому идёт суд. Требует снести.

— Когда подано заявление?

Он посмотрел на неё.

— А что?

— Двадцать седьмого, — сказала Женя. — Утром. Через несколько часов после того, как я при всей деревне отказалась продать ему дом.

Мезенцев помолчал.

— Двадцать седьмого, — согласился он. — Это что-то меняет?

— Мотив меняет.

— Мотив у заявлений не проверяю, — сказал он ровно. — Проверяю факт. Забору сколько лет, знаете?

— Нет. А вы?

— Сорок. Может, больше. Я в детстве через него лазил. — Он сказал это без улыбки, как называют номер дома.

Женя достала из кармана рулетку и из сумки на плече кадастровый план, сложенный вчетверо.

Это заняло двадцать минут. Мезенцев не помогал, но и не мешал: стоял, засунув руки в карманы, и смотрел, как она находит угловой столбик у сарая, отмеряет от него вдоль огорода, сверяется с планом, отмеряет снова. Она чувствовала его взгляд, но не оборачивалась. В её прошлой работе за ней так же смотрели оценщики противоположной стороны: молча, в ожидании, что она ошибётся.

— Метр двадцать, — сказала она наконец, выпрямляясь. — Граница участка по плану проходит в метре двадцати за забором. Со стороны рощи. Забор стоит на моей земле, а не на его. Бабушка поставила его не на границе, а ближе к дому.

Мезенцев взял у неё план, посмотрел, вернул.

— Значит, это не вы у него метр двадцать забрали, — сказал он. — Это он у вас.

Шутка прозвучала так сухо, что Женя не сразу поняла, что это шутка. Мезенцев уже снова что-то писал.

— Так. Факт не подтвердился. Пока.

— Пока?

— Суд ещё не кончился. — Он закрыл блокнот. — И Гуляев не любит, когда ему отказывают при людях. Вы ему отказали два раза.

— Один.

— Сейчас будет второй. — Он кивнул на забор, который никто сносить не собирался.

Только тут Женя заметила, как он стоит. Спиной к роще. Не боком, не лицом, а ровно спиной, как стоят у окна в кабинете начальства, когда не хотят видеть, что за окном. За всё время, что она мерила, он ни разу не повернул голову к берёзам. Последние два шага до забора он так и не сделал.

— Вы знали мою бабушку? — спросила она.

Что-то едва заметно поменялось в его лице.

— Здесь кто её не знал?

— Это не ответ.

— Это вопрос. — Он посмотрел ей в глаза, и Женя увидела, что глаза у него серые и очень усталые. — Соболезную, Евгения Сергеевна. Надолго к нам?

— Пока не найду, кто за домом присмотрит. До марта, как выяснилось, продать его нельзя.

— Так, — сказал Мезенцев, и было непонятно, хорошо это, по его мнению, или плохо.

Он кивнул ей и пошёл обратно к машине той же межой, не оглядываясь. Женя смотрела ему вслед и думала, что он ей не нравится. Не нравилась его манера отвечать вопросом, не нравилось это «так» вместо «да», не нравилось, что он видел, как она мерит, и ничего не сказал, пока она не закончила. Так ведут себя люди, которые проверяют, а не помогают.

Она сама так себя вела. Это не нравилось ей больше всего.

* * *

Вечером она решила лечь на бабушкину кровать.

Решила по пунктам, как на работе. Лавка узкая, спина болит третий день. Кровать — мебель, а не памятник. Ей тридцать один год, и она не будет спать до марта на лавке, потому что боится подушки.

Она сняла кружевную наволочку, чтобы постелить своё, и под подушкой, на самом матрасе, нашла свёрток в ситцевом платке.

Тетрадь. Тонкая, школьная, в зелёной обложке. На обложке: «2026».

Её не было в сундуке, потому что она не была закончена. Её держали под рукой. С ней ложились спать.

Женя села на край кровати и нашла последние исписанные страницы.

«3 сент. Была у Лебедевой. Дом Женьке. Остальное — как выйдет».

«9 сент. М. боится. Это правильно. Кто не боится, тому и давать нельзя».

«10 сент. Сказала Ефиму топить к Женькиному приезду. Поворчал. Запомнит».

Женя перечитала третью запись, ту, что подтверждала слова Ефима, и почувствовала, как внутри что-то сдвинулось и встало на место, как встаёт на место вывихнутый сустав. Ефим не врал. Бабушка действительно знала. Знала за две недели до того, как Женя сама приняла решение ехать.

М. Марина? Мезенцев? Кто угодно: в деревне сорок человек, и половину она ещё не знала по именам. Женя записала в блокнот: «М. — ?», поставила рядом два имени, а потом одно из них, после паузы, подчеркнула. Она не была уверена, почему именно его.

Последняя запись была сделана семнадцатого сентября, за день до смерти. Почерк в ней был крупный, неровный, строчки уходили вниз, будто рука устала держать ручку:

«Под порогом холодно. Не пойму. Завтра М. придёт — скажу».

Женя подняла голову и посмотрела на порог.

Обычный порог. Широкая тёмная доска, вытертая посередине сотнями ног, за ней дверь в сени. Она сама в первый вечер почувствовала оттуда сквозняк и даже сфотографировала порог. Нижний венец. Лаги. Дом проседает.

Она сидела на краю бабушкиной кровати, с тетрадью на коленях, и смотрела на этот порог, и не двигалась. Печь была протоплена, в избе было жарко.

А по полу, от самого порога, ровно и тихо, как вода тянет в омут, тянуло холодом.

ГЛАВА 5

Третий пар

Банник первым не начинает. Кто в третий пар пошёл — того туда привели.
Из тетради А. Т. Зуевой, 1977

Утром Женя легла на пол и подсунула под порог лезвие рулетки.

Лента вошла на три миллиметра и упёрлась. Порог лежал на нижнем венце плотно, без зазора: так подгоняют доски люди, которые строят на сто лет. Женя прошла рулеткой вдоль всего порога, от косяка до косяка. Щели не было нигде. Она приложила к доске ладонь. Доска была холодная, как камень из реки.

«Источник сквозняка не установлен, — записала она, сидя на полу. — Версия: продухи в подполье, холодный воздух снизу». Версия была хорошая. Женя знала, что продухи в старых избах на зиму затыкают, и не стала проверять, заткнуты ли они здесь.

Тетрадь в зелёной обложке она положила во внутренний карман куртки. Сказала себе, что так удобнее. На самом деле ей не хотелось оставлять её в доме одну.

* * *

Магазин в Заполье открывался в пять вечера и закрывался в восемь, а крыльцо у него работало круглосуточно.

На крыльце сидели три старухи на принесённых из дома табуретках, и, когда Женя поднялась по ступенькам, они замолчали все разом, как замолкают птицы на проводе. Потом одна, в мужской ушанке, подвинула табуретку, хотя Женя садиться не собиралась.

— Тихоновна новая, — сказала она вместо приветствия. — Глянь-ка. — И протянула руку тыльной стороной вверх. На костяшке сидела бородавка. — Третий год. Анна сводила, а она обратно.

— Это к Марине Викторовне.

— Маринка жидким азотом жжёт, — с отвращением сказала старуха. — А Анна на ниточку завязывала и под крыльцо. Ты, деточка, на ниточку умеешь?

— Нет.

— Научишься, — успокоила её вторая старуха. — Анна тоже не сразу.

Внутри пахло хлебом, хозяйственным мылом и мокрыми валенками. Нина стояла за прилавком в пуховом платке и при виде Жени просияла так, будто та была её личным достижением.

— Кофе нету, — сказала она, прежде чем Женя открыла рот. — Ты не спрашивай даже. Цикорий есть. В нём, говорят, польза.

— Я за хлебом.

— Хлеб есть. — Нина положила на прилавок буханку и, понизив голос, добавила: — Галька Сорокина пятый день как молодая бегает. Маринка ей одни таблетки оставила, другие выкинула. Говорит, если б не ты, свалилась бы где-нибудь в огороде.

Женя расплачивалась, когда за окном взревел и захлебнулся двигатель. Старухи на крыльце снова замолчали.

Гуляев распахнул дверь настежь, так что на полке звякнули банки, и закрывать не стал. Лицо у него было ещё краснее, чем на поминках, синие жилки на скулах налились, словно их подвели ручкой. Он увидел Женю и остановился.

— А, — сказал он. — Эксперт.

— Добрый вечер, Виктор Семёнович.

— Добрый. — Он кивнул Нине: — Две пачки «Петра» и минералку. — И снова повернулся к Жене. — Участкового на меня натравила? Метры мерила?

— Это вы написали на меня заявление. Участковый проверил его и не подтвердил.

— Проверил, — повторил Гуляев с удовольствием, будто попробовал слово на вкус. — Андрюха Мезенцев мне ещё за забор ответит. А ты слушай. Суд в Никольске никуда не делся, я его выиграю. Земля у рощи будет моя. И роща будет моя. Твоя бабка своё отжила, и порядки её отжили. Тридцать лет она тут всем голову морочила: туда не ходи, это не руби, в баню после полуночи не лезь, банник обидится.

— Виктор Семёнович, — сказала Нина тихо. — Но про баню-то не надо.

— А что про баню? — Гуляев развернулся к ней. — Я в своей бане сам хозяин. Хоть в полночь, хоть в три часа. Давление лучше всяких таблеток сбивает. И сколько лет — никакой банник ко мне не приходил. Пусть приходит, я ему поддам.

Он засмеялся, но никто не засмеялся вместе с ним. Старухи на крыльце сидели неподвижно, дверь так и стояла настежь, и каждое слово выходило на улицу, как пар.

Женя устала. От холода, от порога, от этого человека, который всякий раз говорил одно и то же, только громче. Всю карьеру она слушала людей, которые путают громкость с правотой, и давно научилась отвечать им не повышая голоса.

— Смотрите, — сказала она ровно, — как бы банник не обиделся.

Она имела в виду только одно: взрослый мужчина с давлением под двести бахвалится перед продавщицей полночной баней, и это глупо и опасно.

Но в магазине стало так тихо, что было слышно, как гудит холодильник с мороженым, которое никто не покупал с августа.

Гуляев посмотрел на неё долгим взглядом. Белые пятна снова проступили у него на скулах.

— Это ты мне грозишь, что ли?

— Это я вам советую.

— Ну-ну, — сказал он второй раз за неделю. Взял сигареты, не взял сдачу и вышел. Минералку он забыл на прилавке.

Нина вытерла прилавок там, где он был чистый.

— Ой, Женя, — сказала она. — Ой.

— Что?

— Анна так никогда не говорила. — Нина смотрела на неё круглыми глазами, в которых испуг мешался с восторгом. — При людях-то. Про хозяина.

На крыльце старуха в ушанке что-то быстро шептала двум другим. Когда Женя проходила мимо, все три посмотрели на неё одинаково, без улыбки, и та, что с бородавкой, спрятала руку в карман.

* * *

Баба Клава пришла в двадцать минут седьмого, когда уже темнело, с корзиной под полотенцем.

— Калитки-то, — сказала она с порога, — калитки с картошкой, тёпленькие. А ты, поди, всухомятку. — Она сняла с корзины полотенце, и в избе запахло так, что Женя сглотнула. — Ешь, ешь при мне, мне радость.

Женя ела. Калитки были горячие, с хрустящим ржаным краем. Баба Клава села на бабушкин стул у окна, вынула из кармана кофты клубок и спицы, и спицы застучали тонко и часто, как дождь по жестяному подоконнику.

— Слыхала, — сказала она. — Слыхала, как ты Витьку-то. Про банника.

— Уже?

— Деточка, тут слово до реки дойти не успеет, а его уж на том берегу знают. — Баба Клава покачала головой, не переставая вязать. — Ну и правильно. Ну и поделом. Он ведь, Витька-то, Аннушку крепко обидел. Ты не знаешь, поди.

— Суд.

— Какой суд. Суд — это бумаги. — Спицы стукнули и замерли. — Он весной в рощу с пилой зашёл. В Аннину, заповедную, за твоим забором. Двенадцать берёз положил, столетних, на них ещё моя бабка ленточки вязала. Анна пошла к нему. Не кричала, она никогда не кричала. Сказала: роща, Витя, не твоя и не моя. Он посмеялся.

— Что значит «не твоя и не моя»?

— А то и значит. — Баба Клава снова повела спицами. — Ой, нехорошо, деточка. Нехорошо.

Женя записала про двенадцать берёз. Мотив для злости у бабушки, мотив для суда у Гуляева. Если кто-то в деревне и желал ему зла, то это была покойница.

— Он, говорят, на ночь в бане парится, — сказала она. — Давление сгоняет.

— На ночь, на ночь. — Баба Клава вздохнула. — Ему так в Никольске врач сказал, или кто там. Тепло, мол, сосуды расширяет. Он и рад. Да что врачи, когда человек сам себе голова.

Под полотенцем в корзине, под калитками, лежали ещё бумажные пакетики, свёрнутые аптечными конвертиками, штук десять. На верхнем было написано карандашом: «Пахомовой — от кашля».

— Это по домам, — объяснила баба Клава, проследив её взгляд. — К зиме. Кому от кашля, кому от давления, кому чтоб спать. Аннушка всю деревню снабжала, а теперь кто? Я уж по-стариковски, что помню. — Она порылась в корзине и положила перед Женей пакетик без подписи. — А это тебе. Мятка с душицей. Ты не спишь, деточка, у тебя под глазами синё.

— Спасибо.

— Не за что. — Баба Клава накрыла корзину полотенцем, убрала спицы и встала. Двигалась она быстро, по-молодому. — Мне ещё по домам, пока не легли. Ты дверь-то на ночь закладывай. Мало ли.

— Кого здесь бояться?

— А никого, — сказала баба Клава и улыбнулась. — Это я так. По-стариковски.

На пороге она не остановилась, ничего не попросила и ничего не взяла, и ухват в углу не шелохнулся. Только когда белый платок растворился в темноте, Женя поняла, что ждала, упадёт ухват или нет.

Пакетик с мятой она положила на полку, рядом с синей чашкой. Заваривать не стала: она никогда не пила ничего, что приносили на выездах заинтересованные стороны.

Хотя какая у бабы Клавы могла быть заинтересованность? Ей было семьдесят девять лет, и она пекла калитки.

* * *

Тетрадь с банными правилами нашлась в стопке семидесятых, и Женя открыла её от скуки, как открывают в поезде чужую газету.

«Первый пар — себе. Второй — гостю. Третий пар — хозяину, с прочими. В третий пар не ходи». «После полуночи не мойся: там свои моются». «В бане не ругайся, не спорь, не поминай кого не надо». «Уходя, оставь ковшик воды и обмылок. Веник не уноси: он хозяину». «Баенник сам не тронет. Кто в его пар пошёл, тот сам и открылся».

Ниже, другой ручкой: «Обдериха с ним. Обдерёт — полосы как от веника. Видела у Кузьмичёвых, 1971».

Женя засмеялась вслух, в пустой избе. Инструкция по технике безопасности, ответственное лицо — хозяин. И логика железная: не мойся ночью один, не спорь в жаре, не засиживайся. Мужик в бане за полночь — это и правда смерть, без всякой обдерихи. Она видела три таких дела.

Она перевернула страницу и почему-то подняла руку и положила ладонь себе на затылок. Как будто туда, под короткие волосы, надуло. Шея под ладонью была горячая.

Женя убрала руку и закрыла тетрадь.

* * *

Не спалось. Мятку она так и не заварила.

Около половины первого она встала попить и подошла к боковому окну. Улица шла вдоль реки дугой, и из боковых окон было видно всю деревню. Дождь кончился к ночи, небо очистилось, и Заполье лежало внизу чёрное, без единого огня, как будто его выключили.

Горел только прожектор над лесопилкой Гуляева, далеко, на изгибе реки у въезда. Женя решила считать его луной, которая висит не там.

В белом конусе этого света поднимался пар.

Пар был густой, белый, он шёл ровным столбом из-за забора, оттуда, где у Гуляевых стояла новая баня, клубился в луче и таял над рекой.

Она посмотрела на телефон. 0:34.

«После полуночи не мойся: там свои моются».

— Ну-ну, — сказала Женя вслух.

Старая привычка: если что-то происходит, засеки время. Женя стояла и считала минуты, сама не зная зачем. В 0:52 столб пара вдруг оборвался. Не поредел, не растаял постепенно, как тает дым, когда прогорают дрова, а просто пропал, будто кто-то накрыл трубу ладонью. В луче прожектора остались только редкие клочья, и через минуту не стало и их.

Женя взяла со стола блокнот и при свете телефона записала: «0:34 пар над баней Г. 0:52 — нет». Рядом не было ни одного вопроса, и это ей почему-то не понравилось.

Она легла. Когда она уже почти уснула, со стороны ручья, оттуда, где у самой воды стояла бабушкина баня, донёсся звук. Мокрый, хлёсткий, неторопливый. Шлёп. Пауза. Шлёп. Как бьют веником по распаренной спине, по доске полка.

Ветка, сказала себе Женя. Ветер стих, но ветка над крышей бани могла качнуться. Мокрая ветка бьёт по мокрой дранке.

Шлёп.

Она насчитала одиннадцать, потом сбилась и уснула.

* * *

Разбудил её Шарик. Он выл где-то на улице, долго и тонко, не по-собачьи, а следом застучали в дверь, тяжело, кулаком.

На крыльце стоял Ефим, без шапки, в ватнике, накинутом на тельняшку. Было десять минут восьмого. Над рекой лежал туман.

— Гуляев помер, — сказал он. — В бане.

Женя не помнила, как оделась. Помнила, что почти бежала, а впереди и сзади шли люди, все к въезду, и дома выплывали из тумана по одному, как лодки.

У ворот Гуляевых стояло человек пятнадцать, у самой бани ещё человек пять. Дверь бани была распахнута настежь. На крыльце дома, на ступеньке, сидела Алла в белой куртке, накинутой поверх ночной рубашки, и смотрела перед собой. Она не плакала. Сигарета у неё в пальцах догорела до фильтра и погасла.

— Пашка нашёл, — говорили у ворот. — Сторож. Свет, говорит, в бане горит, а дыму нет. В семь без двадцати постучал, не отвечает. Дверь толкнул, а она открыта.

— Генка на холм побежал, звонить.

Пашка Сорокин, тот самый, которому сорок лет назад бабушка правила ногу, курил у бани, держа сигарету обеими руками.

Женя подошла к самой двери. Никто её не остановил: перед ней расступались. Она отметила это краем сознания и отложила.

Внутри горела лампа под матовым плафоном, и свет в предбаннике был жёлтый и ровный. Дверь в парилку тоже была открыта. Из неё ещё тянуло слабым теплом и запахом берёзового листа и чего-то кислого, угарного.

Гуляев лежал на полу у полка, ничком, раскинув руки, будто хотел обнять доски. Голый. Голова была повёрнута набок, к двери, и Женя видела его щёку и ухо. Кожа на лице была не красной, как вчера, и не бледной, как у мёртвых, а ярко-розовой, почти малиновой, пятнами. Всю спину, от лопаток до поясницы, покрывали тонкие красные полосы, частые и неровные, как будто его долго и страшно хлестали веником.

Веник лежал тут же, на полу, у его руки.

Женя видела мёртвых и раньше, на пожарах и в разбитых машинах. Сначала тело, потом протокол. Протокол помогал. Она начала его в голове, по пунктам. Положение тела. Цвет кожных покровов. Повреждения спины. Предмет у правой руки.

— Угорел, — сказала Марина у неё за плечом. Женя не слышала, как она подошла. Марина была в той же серой флиске, с чемоданчиком, и голос у неё был сиплый, будто она долго молчала. — Видите, лицо какое. Это угар. Вьюшку, видать, рано закрыл, пока угли не прогорели. Часов пять уже. Может, шесть.

— А спина?

Марина посмотрела на спину и ничего не сказала.

За воротами кто-то произнёс, негромко, но в тумане звуки разносятся далеко:

— Обдериха.

И сразу, следом, несколько голосов, перебивая друг друга:

— Какое угорел. Третий пар. После полуночи пошёл, хвастал вчера.

— Сам звал. «Пусть приходит, я ему поддам».

Чья-то маленькая сухая рука взяла Женю под локоть. Баба Клава стояла рядом, в белом платке, повязанном наспех, и в глазах у неё стояли слёзы.

— Банник это, деточка, — сказала она тихо, так, чтобы слышала одна Женя. — Это колдовское. Пойдём отсюда. Нечего тебе тут.

Женя высвободила локоть.

Когда она обернулась к воротам, на неё смотрели все. Не так, как на поминках, сбоку. Прямо. Нина стояла впереди, прижав к груди руки в варежках, и Женя видела, как шевелятся у неё губы. Она не слышала слов, но знала их наизусть, потому что сама произнесла их вчера, в магазине, при свидетелях.

«Смотрите, как бы банник не обиделся».

Старуха в ушанке, у которой была бородавка, медленно отступила на шаг назад, когда Женя пошла к воротам. Потом ещё на шаг. Люди расступались, как у бани, и только теперь Женя поняла, что это было. Не уважение к внучке Тихоновны.

Перед ней расступались, как расступаются перед тем, кого боятся.

* * *

Назад она шла одна и у калитки поняла, что не помнит дороги.

Она развела растворимый кофе в синей чашке в горошек и не выпила. Села к столу. Открыла блокнот, чтобы записать всё, пока не забыла: время, положение тела, цвет кожи, полосы, веник, слова Марины.

На открытой странице стояла запись, сделанная её почерком сегодня ночью:

«0:34 пар над баней Г. 0:52 — нет».

Женя понимала, как это выглядит. Вчера при свидетелях она пообещала ему банника. А ночью с часами в руках следила за его баней, пока там не перестал идти пар.

Уазик остановился у калитки в пять минут десятого. Хлопнула дверь, заскрипели ступеньки. Она не стала ждать стука и открыла сама.

Мезенцев стоял на крыльце, небритый, в куртке нараспашку, с папкой под мышкой. Глаза у него были ещё более усталые, чем позавчера, и смотрел он не на неё, а на раскрытый блокнот в её руке.

Потом поднял взгляд.

— Где вы были этой ночью, Евгения Сергеевна?

ГЛАВА 6

Инсценировка

Баенник дверей не подпирает. Ему двери не надобны.
Из тетради А. Т. Зуевой, 1978

— В доме, — сказала Женя. — Вот здесь. У окна.

Она развернула к нему блокнот. Мезенцев прочитал запись, не беря его в руки.

— Так, — сказал он. — Кто может подтвердить?

— Никто. Я же одна… живу.

— Знаю, что одна. — Он достал телефон и сфотографировал страницу, дважды, с разных углов. — Зачем засекали?

— Привычка.

— Вчера вы при свидетелях сказали ему про банника. Ночью смотрели на его баню с часами. Утром он мёртвый. В бане. — Мезенцев убрал телефон. — Я ничего не утверждаю, Евгения Сергеевна. Я перечисляю.

— Я тоже умею перечислять, — сказала Женя. — Пар не растаял. Он оборвался. В 0:52, разом. Когда печь прогорает, дым редеет минут двадцать. Когда закрывают задвижку на горящей печи, он пропадает за секунду. Я видела три дела с банным угаром, Андрей Николаевич. Ни в одном пар не обрывался сам.

— Только эту страницу не вырывайте, — сказал он наконец.

— Я не вырываю страниц.

Он посмотрел на неё так, будто хотел что-то сказать про вырванные страницы, и не сказал.

— Горбунов застрял, — произнёс он вместо этого. — Следователь из Никольска. Под Сосновкой у Чёрного ручья трубу вымыло, я на уазике бродом еле прошёл. Район ждёт грейдер. Может, в понедельник.

Мезенцев застегнул куртку, впервые за всё время, что она его видела.

— Мне велено охранять, осмотреть, сфотографировать и ничего не трогать. Вы у нас вроде как эксперт. Говорите, видели дела с банным угаром? Пойдёте?

Это была не просьба о помощи. Он хотел посмотреть, куда она пойдёт первой. Подозреваемая на месте происшествия всегда что-нибудь рассказывает, даже когда молчит.

Она сама так делала.

— Пойду, — сказала она и взяла куртку.

* * *

Понятых искали дольше, чем шли до бани.

Люди у ворот Гуляевых стояли теперь на той стороне дороги, будто от бани расходились невидимые круги. Мезенцев спросил, кто пойдёт понятым. Толпа подалась назад.

— Андрюша, ты что, — сказала Нина. — В банникову баню? Да ни в жисть.

— Не в баню. В предбанник. Постоять и расписаться.

— Расписаться, — повторила старуха в ушанке с таким ужасом, будто ей предложили подписать договор с тем, кто в бане. — Своей-то рукой?

В конце концов пошли Ефим и Генка Шумилов. Ефим сказал, что ему восемьдесят без двух и бояться поздно. Генка ничего не сказал, только посмотрел на Женю и пошёл. Почему, она не поняла и отложила это.

Мезенцев открыл картонную коробку на заднем сиденье уазика и протянул ей пару синих медицинских перчаток. Не спросив, нужны ли. Значит, заранее знал, что она будет трогать.

Дверь бани открывалась наружу, как и положено. Новая, из толстой сосновой доски, под янтарным лаком. Женя присела перед ней на корточки.

На высоте колена, чуть ниже ручки, лак был смят. Небольшая вмятина, с пятак, с размочаленными краями, в ней застряли две сухие чешуйки бересты.

— Первое, — сказала она. — Дверь подпирали снаружи. Поленом, берёзовым. Упор шёл снизу вверх, под углом.

Она опустила взгляд. Земля перед порогом была затоптана. Но в полуметре от двери, у самого края бетонной отмостки, в рыжей глине осталась ямка. Маленькая, глубокая, с чётким краем, как от каблука. Только каблук не стоит на одном месте всю ночь.

Мезенцев положил для масштаба авторучку и сфотографировал вмятину и ямку. Рулетки у него не было. Женя молча положила рядом свою.

— Кто первый открыл дверь? — спросила она.

— Пашка. Говорит, толкнул — открылась.

— Значит, полено к утру убрали.

— Или его не было, — сказал Мезенцев. — А дверь пнули.

— Снизу вверх, на высоте колена, с упором в глину? — Она выпрямилась. — Запишите как версию.

Он записал.

Внутри было почти холодно. Остался запах: мокрая берёза, угар и что-то сладковатое, о чём Женя решила не думать. Тело лежало там же, накрытое простынёй. Простыня была детская, с зайцами. Женя не стала спрашивать, откуда она.

Печь была в парилке, железная, обложенная камнем. Над ней в трубе торчала ручка задвижки. Женя посветила телефоном.

— Второе. Задвижка открыта на треть.

— И что?

— Марина Викторовна утром сказала: вьюшку рано закрыл. Так погибают каждую зиму. Но тогда задвижка была бы закрыта. Целиком. Мёртвый не может приоткрыть её на треть утром.

— Может, он её с самого начала так оставил.

— Тогда пар бы не оборвался, а шёл до утра, и Пашка увидел бы дым. — Женя открыла дверцу топки. На колосниках лежали не угли и не зола, а чёрные, недогоревшие головни, обугленные снаружи и целые внутри. — Видите? Дрова задохнулись. Им перекрыли воздух, когда они горели. Задвижку закрыли полностью около 0:52, а под утро кто-то вернулся и приоткрыл её. На треть. Чтобы выглядело как ошибка хозяина.

Ефим в дверях предбанника крякнул. Генка тихо сказал: «Ну».

Мезенцев писал и не спорил. Так было труднее: он ждал, когда она ошибётся.

Веник лежал у правой руки покойника, там же, где утром. Берёзовый, пышный, тёмный от воды. Женя присела рядом и, не поднимая его, раздвинула пальцами в перчатке листья у черенка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.